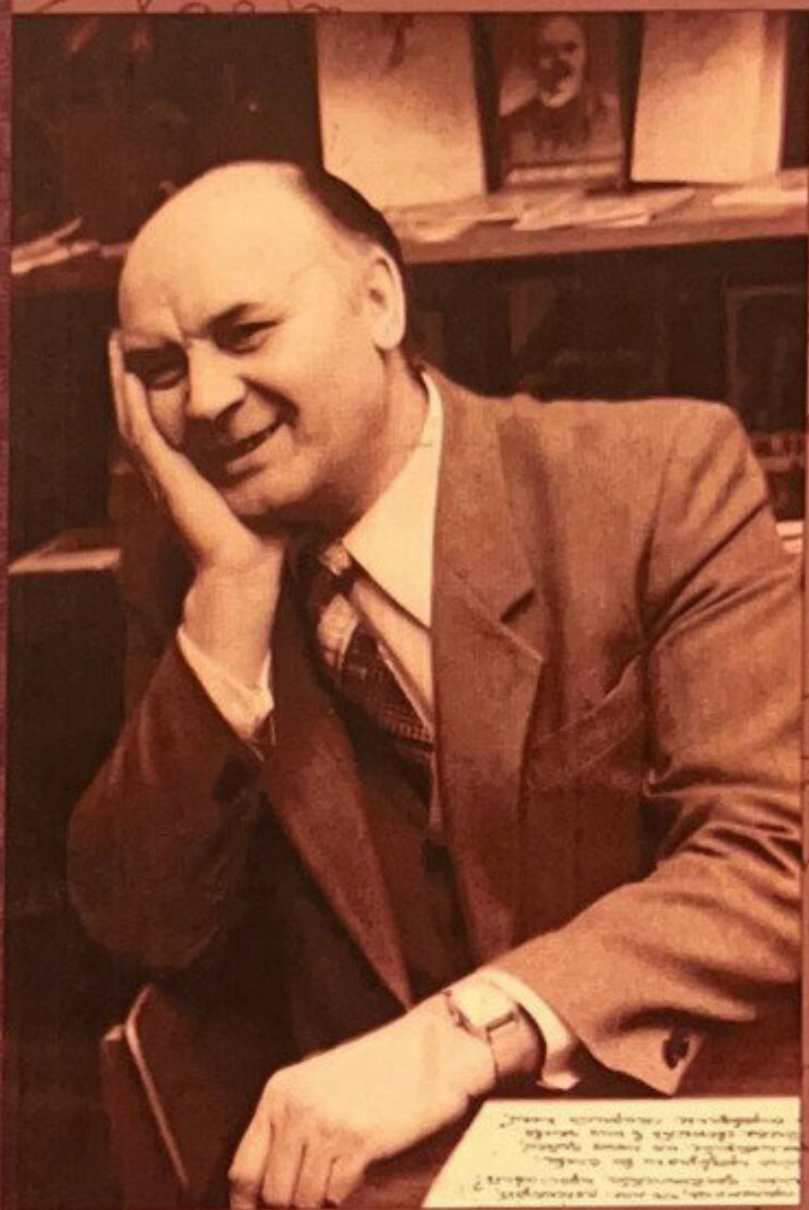


18+

Евгений Евгеньевич
Крашенинников



ПРОГУЛКИ
В ПЕЩЕРАХ
ПАМЯТИ

Евгений Крашенинников

Прогулки в пещерах памяти

«Издательские решения»

Крашенинников Е.

Прогулки в пещерах памяти / Е. Крашенинников —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-693220-3

Южное детство, эвакуация, учёба в школе, смена городов, дружба и любовь,
книги и музыка, люди и переживания в предвоенное, военное и послевоенное
время

ISBN 978-5-00-693220-3

© Крашенинников Е.
© Издательские решения

Содержание

ПРОГУЛКИ В ПЕЩЕРАХ ПАМЯТИ	6
Начало	11
Керчь	13
Город на Урале	17
Ташауз	19
Джанкой	21
Олау	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Прогулки в пещерах памяти

Евгений Крашенинников

© Евгений Крашенинников, 2026

ISBN 978-5-0069-3220-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОГУЛКИ В ПЕЩЕРАХ ПАМЯТИ

ПО ПРОСЬБЕ МОИХ СЫНОВЕЙ

ПЕРВЫЙ ВКЛАД В СЕМЕЙНУЮ РОДОСЛОВНУЮ

«Хорошая у меня была жизнь!

Я таких жизней штук сто прожил бы и не устал!»

ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ Я ПОСВЯЩАЮ СВОЕЙ ЛЮДМИЛЕ,
КОТОРАЯ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ ВСЕМ,
ЧТО БЫЛО И ЕСТЬ ПРЕКРАСНОГО В МОЕЙ ЖИЗНИ,
И ОСТАВАЛАСЬ НА ВСЁМ ЕЁ ПРОТЯЖЕНИИ
САМЫМ ПРЕДАННЫМ И ЛЮБЯЩИМ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКОМ

*«Идеально прожитая жизнь – это жизнь, прожитая второй раз
в воспоминаниях, которые ты же сам и написал».*

*«Один из секретов Жизни заключается в том, чтобы оставить о ней
хорошие воспоминания».*

Мой дар убог, и голос мой негромок,

Но я живу, и на земли мое

Кому-нибудь любезно бытие.

(Е. А. Баратынский)

Началось всё с того, что я, став пенсионером, пообещал своим сыновьям изложить письменно некоторые эпизоды прожитой мною жизни. Как редкую во все времена возможность предоставить им и внукам дополнительные сведения нашей семейной родословной. Ну, а лично для себя, в мыслях, в воспоминаниях прожить свою жизнь вторично.

Задача эта не из лёгких. Хорошо, что я к тому времени обзавёлся прекрасной установкой на то, что *«даже если такой замысел и не удастся, то сладостно само стремление к нему».*

Разговор между нами об этом произошёл в год моего 60-летия, летом 1998 года, на нашей семейной даче под Рязанью.

Это было прекрасное время. Мы с женой пенсионеры. Наши взрослые дети со своими семьями рядом с нами в летних отпусках. Вокруг густая, пахучая зелень садов, полей, лесов. Вдоволь солнца, воздуха, родниковой воды, ближние и дальние прогулки, купания в тёплых дачных прудах и много лёгких разговоров на разные темы.

Среди них случались и воспоминания близкого и далёкого прошлого. Они-то и подвели к идее о том, что пенсионеру не придумать лучшего занятия, чем, коротая зиму, писать не спеша свои воспоминания о прожитой жизни. Ведь даже у Достоевского в его «Бедных людях» есть такие строчки:

«...что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья ненужного можно было бы и приятным заняться. Сесть бы, да и пописать. И тебе полезно, и другим хорошо».

Идея оказалась заманчивой, брошенное семя стало прорастать мыслями, в голове поселилась постоянная забота об этом. А тут и лето незаметно ушло. Дети разъехались. Пришёл задумчивый и светлый сентябрь. Свободного времени заметно прибавилось. Даже днём можно просто так посидеть в саду на пенёчке от спиленного дерева, думая о своём.

Тишина. Вокруг ковер из опавших листьев. На солнечных местах чернеют комья перекопанной земли. На кормушке для птиц нетронутый корм. Сумерки теперь приходят рано и своим осенним холодком выпроваживают из сада в дачный домик.

Здесь, за круглым столом, при электрическом свете можно ещё долго читать, писать, а лёжа на диванчике с закрытыми глазами, вспоминать своё далёкое прошлое и думать о нём. И ориентиры моего книжного чтения с этих пор стали меняться. Всё, что намекало о прошлом, стало задерживать мой взгляд и притягивать моё внимание. Кое-что я начал выписывать в отдельную тетрадь.

Самая первая выписанная фраза выражала призыв:

– Давайте вспоминать, иначе мы просто так и не поймём, кто же такие мы!

Было приятно сознавать, что кто-то, кроме тебя, тоже был увлечён тем же делом. Скоро в моей тетради появилось много мыслей, которые в большинстве своём были близки мне по духу и, кроме того, поддерживали меня в моём начинании:

– Я давно уже нахожусь в состоянии воспоминаний.

– Я не спеша собрал с волнением воспоминанья и дела.

– Воспоминания безмолвно предо мною свой длинный свиток развивают.

– Я рад теперь ночному бреду – воспоминаньям давних лет.

– Я сладко усыплен моим воспоминаньем.

– Не сами ли мы своими воспоминаниями создаём свою жизнь.

Встречались и такие мысли, от которых веяло пессимизмом, неверием, тоской:

– Прошли года, прошли года – и ничего не подарили.

– Какие б чувства ни таились тогда во мне – теперь их нет.

– На что нам вспоминать свои волнения, надежды глупые первоначальных лет

Подобные мысли не смогли увести меня в сторону от намеченного дела. Я им не верил. Во мне всё больше и больше укреплялось желание вспоминать, обращаясь назад в далёкое прошлое.

Наконец пришёл тот день, когда я сел за стол и взял в руку карандаш. Я привык к тому, что любое повествование начинается со вступления, и начал выстраивать то же самое. Но вступление у меня никак не получалось. Было исписано много бумаги, потрачено много времени, но каждый раз меня что-нибудь не устраивало. Так один за другим было забраковано четыре первых варианта.

То мне не нравился приём, который я использовал.

То мозолила глаза натянутость текста.

То язык казался тяжёлым и корявым.

То нарисованные образы приторными.

То появлялась потребность внести дополнение в то, что уже написано.

То хотелось подойти ко всему с другой стороны.

А время шло, и продвижение вперёд было ничтожно малым.

Выслушав мои сетования по этому поводу, близкие мне люди посоветовали отбросить все претензии к написанному тексту и писать, не останавливаясь и не делая анализа написанному до окончания всей работы в черновом варианте.

Я так и сделал. Работа пошла и быстрее, и лучше.

Большую помощь работе, моему внутреннему желанию «вспоминать» помогала в то время «моя болезнь», моя ностальгия. Она поселила во все уголки души сентиментальную грусть о недавнем прошлом после того, как мы с женой после 35-летнего проживания в городе Магадане перебрались недавно на житьё за 10 тысяч километров западнее Магадана в город Рязань.

Когда душа тоскует воспоминаниями о недавнем прошлом, то легко погружаться мыслями и в более давние времена. Так я впервые, блуждая в «пещерах» своей памяти, вдруг ясно увидел и прочувствовал свою самую первую ностальгию, которой переболел давно, ещё в 1958 году, когда мне было всего 20 лет.

В холодном феврале того далёкого года я, как и теперь, тоже резко менял своё место проживания. Из родных мест Северного Кавказа, из красивого города Пятигорска я переехал на самую мрачную территорию всего Дальнего Востока, в Магаданскую область – Крайний Северо-восток страны. В тот раз моя первая ностальгия дала о себе знать не сразу.

Первое время я чувствовал себя на этой, новой для меня земле, путешественником, который, преодолев длинный путь от Кавказа до Колымы, переполнен экзотикой дороги. Позади осталось восемь часовых поясов, и вот передо мной та загадочно-жуткая, холодная, чужая земля. Но ведь я здесь временно. Заброшен сюда стечением обстоятельств. Скоро в обратный путь. Через год, максимум через два года, я должен буду вернуться к трём белым акациям у окон родного дома и тому душевному спокойствию, которое даёт тебе твоя маленькая родина.

Но всё сложилось совсем по-другому.

Скоро я из туриста стал жителем глухой таёжной глубинки с постоянной пропиской в паспорте и тяжёлой, незнакомой мне до этого работой. Мосты сожжены, пути назад отрезаны, вокруг только белые, скованные пятидесятиградусным морозом сопки, барачный посёлок на обочине печально знаменитой Колымской трассы да горстка людей.

Все непривычно и чуждо. На мне тёплое, с начёсом, китайское нижнее бельё. Ватные брюки (о существовании которых я даже не предполагал). Просторная телогрейка. Толстый свитер с высоким, плотно облегающим шею воротником. Валенки с двойной подшивкой на подошвах. меховая ушанка на голове, длинный шарф и меховые рукавицы. Я – промывальщик-пробуторщик разведучастка прииска «Большевик» Сусуманского района Магаданской области. Жильё моё – койка с тумбочкой в барачном общежитии.

Один за другим потекли дни с непривычно для меня ранними подъёмами.

Кромешная тьма, тяжёлое дыхание на сильном морозе, хрустящие клубы воздуха изо рта; на бровях, ресницах и в носу ледяные сосульки. Под ногами, еле различимая на плотном снегу, узкая пешая тропа, виляющая между тесно сдвинутых отвалов и сопок, которая через 12 километров оканчивается в узком каньоне, где находится место моей первой работы на Колыме. Сама работа тяжёлая и грязная, вся под открытым зимним небом у разведённого костра, в клубах дыма и пара. Над костром закопчённая металлическая полубочка с растопленной снеговой водой, в которой нужно в течение светового дня в деревянном лотке промывать замороженные куски грунта в поисках золотой пыли, – вот работа промывальщика. С наступлением новой темноты обратный путь в сторону посёлка – всё те же 12 километров пешком. Четыре часа ежедневной пешей ходьбы в полном молчании – это много мыслей в голове, и почти все они болезненно-ностальгического происхождения, больно сжимающие сердце тисками тоски по недавнему прошлому.

Но самый пик ностальгической тоски приходится на ночное время в холодной и жёсткой постели. До позднего часа голова работает в режиме воспоминаний. Одна картина сменяет другую, терзая душу и не давая уснуть даже при сильной усталости после изнурительной дневной работы. Голубое небо далёкой родины; калитка родного дома, за которой яблоневый сад; скамья под большим кустом сирени, запах обеда из летней кухни, знакомые голоса, родные лица.

Но чаще других возникает, долго и отчётливо видится и снова повторяется с самого начала одна простенькая картина: над Пятигорском полыхающее зноем небо, у подножья Машука маленькая безлюдная поляна, вся в густой траве и полевых цветах. Внизу, и близко, и далеко, красавец город. Вокруг тихо и безмятежно, словно под лучами солнца всё вокруг погрузилось в нескончаемые грёзы. Я лежу в траве вверх лицом и смотрю в спокойную, про-

хладную и зовущую бездонную голубизну неба. Время от времени чувствую на своём лице лёгкое, приятное и прохладное касание горного ветерка. Во всём теле молодая, упругая сила, а в сердце тёплая волна спокойного счастья и тихая радость. Зачем я сейчас не там, а здесь? Губы дрожат, по щеке сползает беззвучная слеза. Тяжело и страшно.

Ностальгическая болезнь разучила меня в то время улыбаться. Долгое время лицо моё оставалось грустным и хмурым.

Всё это было давно.

А теперь, через много-много лет, уже в городе Рязани, моя ностальгия повторилась, но в обратном географическом порядке. Тогда, очень давно, я тосковал по югу, а теперь меня сжигала ностальгия по Магадану, по Охотскому морю. Вновь, как и тогда, все мосты сожжены, все пути назад отрезаны. Опять, как и тогда, во тьме и тишине глухой зимней ночи приходит ко мне ясно и чётко недавнее прошлое, главным символом которого на этот раз является не поляна на склоне горы Машук, а холодное Охотское море в бухте Нагаева.

То море, которое уходит от крутых берегов этой бухты за горизонт и за много километров от побережья переходит в Великий (Тихий) океан, который катит и катит свои волны тысячи и тысячи километров до берегов двух Америк.

Я стою на высоком берегу этой бухты. Из дальних океанских далей с невероятным напором и гулом несётся шквалистый ветер, надувая тугим конусом за моей спиной капюшон куртки. Сильно прищуренные глаза видят низкое, тёмно-серое небо и тонкие плети хлёсткого дождя. От далёкого горизонта к берегу, увеличиваясь в размерах, катятся одна за другой гребни волн, летят охапки пены над их белыми спинами, в ушах свист и вой свирепого ветра, а на душе покой и радость, в сердце отвага, и настроение хоть куда!

А вот другая картина. Море спокойно. Я стою на влажном песке у самой кромки прилива. По поверхности моря скачут солнечные блики, вода отдаёт прохладой и солёным привкусом. Лениво дрейфуют вдоль берега сытые чайки. Неподальёку зарылся в песок, по самую ватерлинию, списанный по старости ветеран моря – рыболовный сейнер «Хрусталь». У ветерана в левом борту пробоина, но уцелевшие стёкла бортовых иллюминаторов сверкают на солнце как ордена на груди, и сам он тянется ввысь из своего плена высокой надстройкой и мачтой.

Ностальгия наполняет мои мысли болезненными чувствами и переживаниями, слегка всё идеализируя и приподнимая над повседневной будничной жизнью. Вот она-то, эта ностальгия, очень помогла мне чувственно на первых порах, и облегчила, таким образом, мою работу над воспоминаниями.

А жизнь на новом месте, в краях рязанских, шла своим чередом. В конце сентября состоялся переезд из дачного домика в городскую квартиру. Понадобился целый месяц, пока жизнь в городе вошла в свою колею и стала привычной. Я снова занялся своими «Прогулками...».

«Когда на тёмный город сходит
В глухую ночь глубокий сон,
Когда метель, кружась, заводит
Над нашей крышей перезвон...
Тогда...»

Огонь погашен, под тобой тёплая, мягкая постель, обе руки за головой, глаза закрыты – и начинается, *удивительное действие*: ты погружаешься в пещерные, тёмные и тихие глубины своей памяти. Затем ощупью, при скудном свете внезапно оживающей давности, медленно начинаешь двигаться тропинками далёкого прошлого.

«И милые идут воспоминанья

Из глубины покинутых времён».

С удивлением видишь самого себя. Видишь другие, так хорошо знакомые тебе когда-то лица. Слышишь их разговоры, узнаёшь знакомую интонацию их голосов. В голове сам собой начинает складываться текст повествования обо всём только что увиденном.

Далёкая память детства. И почему-то всегда радостная, даже если она была грустной. А за окном стылый ноябрь засыпает мёрзлыми листьями улицу и тополиный парк – любимое место степенных ворон. Над голыми стволами деревьев постоянно висят малоподвижные, тёмные облака.

Работа над «Прогулками...» шла сё лучше и организованней.

«Ночными бдениями» собирался и накапливался солидный материал, а днём он ложился на бумагу. Моё прошлое дополнялось все новыми картинками, и большинство из них виделось мне в радостных, солнечных тонах, а некоторые ещё и в музыкальном обрамлении старого, но не забытого песенного репертуара.

И было так здорово!

Та забытая прошлая жизнь на фоне милых старых мелодий открывалась мне своей романтической стороной, отзывалась в душе щемящим чувством и добавляла мне делового азарта.

Скоро я перешёл работать за другой стол подальше от работающего телевизора и ближе к теплу печи и отопительной батареи. Теперь каждый день за другим окном я видел не тополиный парк, а голую берёзовую рощицу и уходящую на восток зимнюю картину неба.

Однажды, ближе к вечеру, это небо вдруг очистилось от тёмно-серого мрака и на открывшемся бездонном и голубом небосводе воссияло яркое-яркое солнце, как предвестник заблудившейся весны. С небес повеяло теплом и ослепительным светом. Невольно опускаешь глаза вниз, ищешь весенних примет на земле, а там всё тот же снег да те же продрогшие берёзы. Но уже через минуту эта «шутка природы» скрылась за новой тёмной завесой. Сидишь и чувствуешь, что этот краткий, случайный проблеск весны оставил после себя в душе тепло и радость. В голове, вопреки грустному Гоголю, в душе зазвучала, запела крылатая фраза:

«Хорошо жить на этом свете, господа!»

Начало

«Когда постоянно вспоминаешь и вспоминаешь, то вспомнишь то, что было ещё до твоего рождения»

Родился я в Крыму, в самой середине лета.

Место моего рождения – город Керчь.

Время рождения – 16 июля 1938 года.

Июль в Керчи – это изнурительный зной, высокие облака над морем. Неподвижный, раскалённый воздух с терпким запахом пыли и солёной морской воды. Беспокойные душные ночи. Медовый запах липы сразу после южной очистительной грозы с её желанным и коротким ливнем.

Июль в Керчи – это тысячи пышных цветов на городских клумбах. Колючие головки чертополоха за городской окраиной. Вечерняя «скрипичная» музыка кузнечиков. Лёгкие освежающие ветерки на вершине горы Митридат и Чёрное море с его горячими песчаными пляжами.

Керчь – город-долгожитель. Основан ещё древними греками, как один из опорных пунктов на черноморском побережье во времена их дальних морских путешествий. Керчь расположена на берегу узкого пролива, который соединяет два моря – Чёрное и Азовское. Этот же пролив отделяет южный берег Крыма от Кавказского побережья. Над городом и проливом главенствует гора Митридат. На противоположном берегу Керченского пролива хорошо видна Тамань (древняя Тмутаракань), описанная Лермонтовым. С вершины Митридата видно, как Керчь длинной лентой плотно прилегает к морю.

Главными объектами приморской части города являются металлургический завод имени Войкова, морской порт и пляж.

Как представляется мне теперь, история с моим рождением начиналась в конце «бархатного сезона», осенью 1937 года.

В первое воскресенье октября на городском стадионе играли в футбол две местные городские команды. В этой игре победила команда Металлургического завода имени Войкова. Часть зрителей задержалась на своих местах, чтобы посмотреть процесс награждения победителей.

Вечерело. Солнце медленно оседало за вершину Митридата, бросая лучи вверх. Западная часть неба багровела красивым переливчатым закатом. Со стороны танцевальной площадки доносились звуки духового оркестра. Томные мелодии срывали со своих мест на стадионе наиболее мечтательные и нетерпеливые души и уносили их навстречу танцевальному празднику.

«В парке «Чаир» распускаются розы.

В парке «Чаир» расцветает миндаль.

Вижу твои золотистые косы...»

Несмотря на такой соблазн, часть зрителей оставалась на своих местах, аплодируя игрокам, получавшим грамоты и подарки.

Черноволосая, тёмно-коричневая от загара девушка преподнесла молоденькому капитану заводских футболистов букетик осенних цветов. Капитан команды, молодой парнишка, долго тряс её руку, смеялся и, наклоняясь к ней, что-то говорил, скорее всего, приглашал её на танцы.

А солнце уже скрылось за горой Митридат. День угас. Стадион опустел. Вдоль пешеходных дорожек парка и вокруг танцевальной площадки зажглись огни.

Оркестр исполнял одну мелодию за другой почти без отдыха.

«Осень, прохладное утро.
Небо как будто в тумане.
Светит огнём перламутра
Солнце осеннее, дальнее.
Где наша первая встреча...»

Молодые люди (тот парень и та девушка) нашли друг друга в плотной массе танцующих, соединили свои руки, улыбаясь, и не сводя глаз друг с друга. Поздним вечером, уставшие и счастливые, они уединились на верхушке южной трибуны стадиона.

Внизу, совсем рядом, блестел под луной Керченский пролив. По ту его сторону пропадал во тьме Кавказский берег и лишь в одном его месте, у самой воды, высвечивала реденькими огоньками прибрежная Тамань. Лунная дорожка дрожала в ночной ртутной воде. А там, где уже начинались воды Азовского моря, её неровные края ломались, и вся она дальше рассыпалась яркими, прыгающими над тёмной водой искрами.

Парнишка был местный, керченский. Шёл ему восемнадцатый год. Чуть ниже среднего роста, с легкоатлетической фигурой, приятным худощавым лицом, внимательными улыбающимися глазами и располагающей к себе манерой разговора. Недавний выпускник средней школы, поступил работать на металлургический завод, и был полон надежд и молодого горения.

Звали его Женя.

Девушка (по национальности гречанка). Жила с родителями в городе Джанкое, недалеко от Керчи. Невысокая, смуглая, с привлекательным лицом южанки, мягким, добрым взглядом тёмных глаз. Шёл ей тогда двадцать третий год.

Звали её Вера. Вера Такчианиди.

В Керчь она приехала для учёбы в металлургическом техникуме при заводе имени Войкова и жила в общежитии.

Те осенние южные ночи стали для них бесконечным, бессонным, желанным свиданием. Местом свиданий стала вершина горы Митридат. Вокруг ночная тишина, с моря дует прохладный уже ветерок, над головами тёмное осеннее небо с тусклыми звёздами, и они – Вера и Женя. В эти ночи, в глубокой тайне, неведомой даже им, уже зарождалась новая человеческая жизнь. Это была моя Жизнь. Очень скоро они стали моими родителями.

Керчь

Из родильного дома меня доставили вместе с мамой в частный домик на улице Чернышевского №8. Эта узкая приморская улица петляла у самого подножья горы Митридат.

Здесь проживала семья Крашенинниковых — мой молоденький отец, его мама Лукия Семёновна (баба Луша) и отчим отца – Валентин Семёнович (деда Валя).

История этой семьи начиналась тут же, в Крыму, ещё в годы гражданской войны. Молодая и привлекательная Лушенька в 1919 году тайком от родителей встречалась с белогвардейским офицером по фамилии Федосеев. Но в следующем, 1920 году, их «роман» оборвался. Крым был занят войсками Красной Армии, и Федосеев бесследно исчез. В этом же году Луша родила мальчика.

Через несколько лет, с маленьким ребёнком на руках, Луша вышла замуж за Валентина Семёновича Крашенинникова. Он обладал спокойным, мягким и покладистым характером, да к тому же никогда в жизни не пил и не курил. Он усыновил мальчика Женю, дал ему свою фамилию и своё отчество. Поселились они в городе Керчи, купив на сбережения Валентина Семёновича домик с небольшим садом и огородом. Дедушка поступил на работу в рыбный порт, а бабушка Луша вела всё домашнее хозяйство.

В домике под горой Митридат я сразу попал в заботливые руки любящей бабушки, которая лелеяла меня первые три года моей жизни. Для неё я был превосходной степенью всего, что только можно было придумать: золотцем, куколкой, месяцем ясным, радостью ненаглядной, Жекусенькой миленьким и тому подобное.

Она сама шила мне платьица и наряжала меня в них. Она поила меня фруктовыми и овощными соками, которые сама выжимала. Она ежедневно растирала в стакане из свежих яичных желтков с сахаром «гоголь-моголь» и кормила меня с ложечки сладкой, вкусной жёлтой пеной.

А тем временем в моей жизни наступила моя первая осень – цветастая и тихая. Ушёл зной. Опустели пляжи. В парке смолкла музыка по вечерам. Поубавилось летнего многолюдья и суеты. Ветер подметал городские улицы, шурша сухими листьями.

Жизнь моя из нашего садика переместилась до будущей весны в тёплый домик. Всё это время, кроме бабушки, в свободные часы со мной нянчились мама, папа и дедушка.

Отец мой был единственным ребёнком в семье.

Страстно любимый и набалованный своей мамой, он рос капризным, требовательным и эгоистичным. Красивое худощавое лицо с налётом благородства. Немало ярких природных задатков, как по уму, так и по характеру. Лёгкость и непринуждённость в общении с людьми любого возраста. Гуманитарный склад ума, любовь к поэзии и музыке, начитанность и хорошее владение устной речью. Он знал много мест наизусть из «Евгения Онегина» и часто к месту цитировал отрывки из него. Любил шумные, весёлые компании, солёный юмор, пение под гитару. Импульсивный, холерический темперамент выводил его в среде молодёжного окружения на видное место. В своих увлечениях был порывистым, нерасчётливым и бесшабашным. Но если увлечение подводило его к границам глупости или опасности, он хорошо чувствовал это, и его бесшабашность резко обрывалась. Он сразу становился другим человеком – осторожным, расчётливым и волевым. В ситуациях предсказуемых и ясных был смел и напорист. В ситуациях сложных, где требовались риск и отвага, никогда не шёл напролом, тем более до конца: или сворачивал, или отступал. Там, где жизнь выводила его на роль лидера, он мог быть им только временно, так как быстро насыщался этой ролью и старался незаметно уйти в тень, подальше от ответственности, которая была ему не по нутру, так как не соответствовала его лёгкой игровой натуре.

В отличие от отца, мама моя выросла в многодетной семье. Мой дедушка, Кирилл Саввич, и моя бабушка, Фимия Константиновна, были людьми греческой национальности и носили фамилию Такчианиди. История их семьи берёт своё начало в Армении, в небольшой деревушке у подножья горы Арарат. В начале 20-х годов они переселились из Армении в Крым и поселились в городе Джанкое. Здесь их семья стала многодетной. В ежедневных трудах, заботах и хлопотах они воспитали трёх сыновей и трёх дочерей. Звали их Коля, Вера, Оля, Володя, Миша и Соня (Ляля).

Второй по счёту ребёнок стал нянькой для четырёх своих братьев и сестёр, первой помощницей своей мамы во всех домашних делах. Игры с подружками и другие детские радости были для неё явлением редким. Но зато к своим 15 годам девочка умела готовить, стирать, шить, вязать и одновременно с этим хорошо учиться. Когда пришло время думать о приобретении профессии, это была уже самостоятельная в своём выборе, спокойная, рассудительная, хорошо приспособленная к жизни и пользующаяся полным доверием своих родителей девушка. Но первые её самостоятельные шаги, такие, как выбор профессии техника-металлурга, учёба и жизнь в другом городе, скорое замужество, рождение ребёнка, стали для её родных обидной неожиданностью, так как не соответствовали, по их разумению, той серьёзности, строгости и рассудительности, которые отличали её от других.

Начало семейной жизни двух молодожёнов не получилось простым и гладким. В течение первого года из Джанкоя в Керчь никто не приезжал. Единственным человеком, безмерно радостным и счастливым во всей этой истории, была моя бабушка, – бабушка Луша. Благодаря ей мои родители получили ту помощь и участие, в которых они нуждались.

Пока осень и зиму 1938/1939 года я ел, спал, набирался сил, чтобы летом встать на собственные ноги, в городе Джанкое протекала жизнь сразу двух семей Такчианиди. Это были семьи двух родных братьев – старшего Яни и младшего Кирилла. Братья лицами и ростом походили друг на друга, но вот характеры у них были разные.

Яня был хмурым, неприветливым и заносчивым. Про него говорили, что он со дня своего рождения никогда не смеялся и, прожив большую жизнь, не знает, как это делается.

Кирилл, напротив, имел тихий, покладистый характер и добрую отзывчивую душу. В отличие от старшего брата, который в своей семье проявлял деспотические замашки и часто топал ногами и ругал свою тихую, маленькую, «затурканую» жену Симелу, Кирилл, наоборот, был под каблуком своей жены Фимии, которая часто выговаривала и ругала его почём зря.

В семье старшего брата Яни выросло три сына: Пантелей, Аркадий и Константин.

Старший из них – Пантелей Иванович. Он каким-то чудом выбился в большие чины и уже много лет жил в Москве на улице Большая Калужская (позже Ленинский проспект) дом 22, квартира 24. Работал он в центральном аппарате ЧК-ОГПУ-КГБ при Ягоде, Ежове, а затем и при Берии, в управлении контрразведки, в отделе стран Ближнего и Среднего Востока. Вся его жизнь была окружена секретностью и окутана ореолом таинственности. В те годы того ведомства, в котором работал Пантелей, чиновники любого ранга боялись, как огня, и он, используя это положение, оказывал помощь и принимал живое участие в судьбе родственников ему греческих семей.

Дядя Яня и мой дедушка Кирилл имели видимые физические недостатки. У дяди Яни был когда-то выбит один глаз, а мой дедушка был слегка горбатым. История с Яниным глазом в моей памяти не сохранилась, а дедушкина трагедия запомнилась. Это произошло во время Первой мировой войны. В 1915 году на территории Армении (где жили мои греческие предки) турки устроили форменный геноцид, ворвавшись на эту территорию и вырезав до 1-го миллиона мирных армянских жителей, а вместе с ними без разбора и всех «смуглых», которые попались под руку. В водоворот кровавого беспредела был втянут и Кирилл. Его вместе с толпой армянских мужчин вывели за околицу села, поставили лицом к оврагу и ударили кинжалом

в бок. Ночью он очнулся, придавленный трупам своего дяди и двоюродного брата. Подобранный вскоре женщинами, он выжил, но после этого тяжёлого ранения у него стал расти горб.

Было это давно. Тот кошмар ушёл в прошлое. Греческие семьи покинули территорию Армении и прочно обосновались в Крыму. Оба брата (Яня и Кирилл) поселились со своими семьями в городе Джанкое.

Вскоре семья Кирилла потеряла старшего сына Николая, который умер от инфекции. Среди оставшихся детей старшинство перешло к Вере. Родители представляли её будущее таким образом, что по окончании средней школы она на местных городских курсах получит профессию бухгалтера, устроится на работу, выйдет замуж за грека из какой-нибудь семьи, проживающей рядом, и будет жить, как живут все люди вокруг. Однако старшая дочь проявила во всех этих вопросах самостоятельность. Вместо Джанкоя она выбрала Керчь, вместо домашнего уюта – тесноту общежития, вместо профессии бухгалтера – профессию техника-металлурга, вместо соседского грека – незнакомого молодого русского, которому нужно будет ещё служить в армии, тогда как греков в Красную Армию не брали.

Между Джанкоем и Керчью пролегла молчаливая обида. И только через год после моего рождения джанкойская сторона дрогнула.

Первый визит в Керчь нанесла бабушка Фимия с Лялей и Мишей. За ними новую родню посетил дедушка. За ним в домике у горы Митридат побывала 19-летняя Оля.

Последним, к моему первому дню рождения (16 июля 1939 года), с фотоаппаратом на плече в Керчь приехал 16-летний Володя. Он был гордостью семейства Такчианиди и ставился всем в пример как образец в учёбе и поведении. Учился он на одни пятёрки и окончил школу с золотой медалью. Мечтал стать архитектором. Его страстью было черчение. Ещё учась в школе, он выполнял тушью сложные чертёжные работы. За отличную учёбу Пантелей (его дядя) подарил ему фотоаппарат. В те годы это был сказочный подарок. Володя приехал в Керчь в воскресенье, чтобы застать всех в сборе и сделать на память фотоснимки. Много лет прошло с той поры, но один Володи́н снимок сохранился в моём альбоме.

Милому, всеми обожаемому Володе была уготована трагическая судьба. Начавшаяся летом 1941 года война с Германией нарушила все его планы. На фронт, как грека, его не взяли, а осенью он неожиданно тяжело заболел. В процессе болезни он ослеп и со словами: «Папа, я хочу видеть!» – умер на руках убитого горем дедушки.

Осенью 1939 года моего отца призвали на службу в ряды Красной Армии, а мама, окончив техникум, была оставлена на Керченском металлургическом заводе в качестве мастера.

Военная служба с самого начала отца не баловала. Он попал в кавалерию и очень тяготился своей обязанностью конюха полковой конюшни. Письма его домой были мрачными и раздражительными. И тогда, как *уже* повелось, обратились в Москву, за помощью к Пантелею Ивановичу. Он отреагировал быстро, так как Вера была его любимой двоюродной сестрой. Отец вскоре был откомандирован из кавалерийского полка на учёбу в качестве курсанта Чкаловского лётного училища.

Такой поворот в судьбе отца осчастливил. Из училища выпускали кадровых офицеров ВВС (военно-воздушных сил). Заводскому рабочему парню стать офицером ВВС было крайне заманчиво и почётно. Домой стали приходить другие письма – пространные, весёлые и немного хвастливые.

Все успокоились, помяная Пантелея Ивановича добрым словом.

Летом 40-го года мне, двухлетнему, уже позволяли играть во дворе.

В конце двора, у самого забора, под навесом, стояла большая клетка с кроликами. Я осторожно забирался в неё через дверку и тихо сидел внутри, вдыхая запах крольчатника и наблю-

дая «загадочную» жизнь её обитателей. Бабушке вначале это не нравилось, и она пыталась этому воспрепятствовать, но тщетно. Каждый новый день я снова забирался в клетку и просиживал там долгое время.

Второй потребностью для меня в то лето было также тихое сидение, но уже на помидорной грядке среди высоких зелёных кустов, куда меня манил особенный, удивительный запах помидорных листьев и жизнь маленьких обитателей огородных «джунглей».

Кроме этих дел можно было качаться в гамаке и наблюдать из него за жизнью птиц в густой кроне сада.

Несколько раз в день из-за невысокого забора появлялось весёлое лицо соседской девочки, которая громко дразнила меня:

«Папа Женя, мама Женя, сын Женя!

Папа Женя, мама Женя, сын Женя!»

Я брал с земли маленькие камешки и неумело бросал их в сторону забора.

А в семье Кирилла и Фимии действительно первую дочь Веру с раннего детства звали Женя – Женечка. Вторую дочь Олю все звали Лёля – Лёлочка. А третью дочь Софью все звали Ляля – Лялочка. Но, из трёх сестёр только одну Софью Кирилловну так всю жизнь и продолжали звать Лялочкой. С Верой и Олей этого не случилось. Отчего это всё так получилось, я вразумительно объяснить не могу.

В свои детские годы, я не мог даже предположить, что буду работать над своей родословной. Поэтому большого любопытства к бытовым семейным вопросам не проявлял.

В это же лето бабушка начала выводить меня за пределы нашего двора.

По узенькой тропинке она поднималась со мной на вершину Митридата. Свернув к южному склону горы, мы садились на траву и смотрели вниз, где под солнцем блестело море, а у берега стояли корабли, над которыми двигались длинные руки портовых кранов. Правее желтел песком городской пляж, заполненный маленькими фигурками людей. А вокруг было тихо, спокойно и счастливо.

В это же лето состоялось моё первое путешествие.

Бабушка Луша вместе со мной нанесла ответный визит в Джанкой. Впервые в моей жизни был многолюдный вокзал; свистящие паровозы; вагонная сутолока; перестук колёс, мелькание цветных картинок за окном, встреча в джанкойском доме, восторги, восклицания, накрытый по-праздничному стол; много разных людей.

Так начиналось для меня знакомство с окружающим миром – чистым, прекрасным и радостным. Другого мира детство не знает.

Наверняка в жизни каждого человека, в его памяти, детство остаётся самой счастливой порой, но при одном условии – мир вокруг ребёнка должен быть мирным. Это условие будет сохраняться вокруг меня еще один год.

Летом 1941 года началась война с Германией.

Фронт стал быстро приближаться к Крыму. Встал вопрос об эвакуации. Маму направят в один из уральских городов, где находился большой металлургический завод.

Она объявила бабушке о том, что возьмёт меня с собой. Много позже мне рассказывали, как убивалась бабушка, как плакала, как просила, чтобы я поехал вместе с ней и дедушкой Валей в Среднюю Азию (место их эвакуации), где весь год тепло и много фруктов. В ответ мама приводила свои доводы с такой твёрдостью и непреклонностью, что бабушке стало ясно: разлука неизбежна.

Война опрокинула весь привычный уклад жизни. Для меня теперь чаще других слов звучали незнакомые и непривычные слова «потерпи», «нет», «нельзя». Счастливая, безмятежная, радостная пора моей жизни окончилась для меня в 3 года.

Город на Урале

На Урал ехали спецпоездом: вместе с людьми вывозилось заводское оборудование. Весь путь в воздухе витала тревога. Люди переговаривались тихими голосами. Слышны были частые вздохи. По вагонам тянуло табачным дымом.

Дети – самый чувствительный барометр общего настроения – не бегали по вагону, не смеялись и почти не плакали.

Когда состав двигался, и взрослые и дети часами глядели в вагонные окна или дремали, привалясь друг к другу. Но двигался состав реже, чем стоял. Очень часто от состава отцепляли паровоз в военных надобностях, и длинный эшелон сутками простаивал на запасных путях. На всех больших и маленьких станциях была одна и та же картина: вокзалы и перроны забиты людьми со scarбом.

Эшелоны «западного» направления один за другим, не сбавляя скорости, громыхали на стрелках и исчезали в клубах дыма. Бесконечная вереница платформ с военной техникой. Теплушки, набитые солдатами. Цистерны с горючим. Круглосуточный, несмолкаемый перестук колёс, скрипы тормозных колодок, удары и лязг вагонных буферов, резкие и протяжные гудки паровозов, окутанных белым паром и чёрным дымом, запахи угля и мазута.

Главная забота у всех – добывание кипяточка. О еде вслух не говорили. Питались все по мере возможностей. Спали тревожно и неудобно, по два человека на одной полке. На место прибыли измученные, грязные и голодные.

Название города я не помню, потому что был маленький.

Поселили нас с мамой в маленькой комнатке большого коммунального дома. Длинный коридор, по обеим сторонам которого располагались комнаты, каждая на одну семью. Маму тут же определили на работу в литейный цех местного металлургического завода – мастером, а меня в детский сад при заводе. С этого момента для мамы началась изнуряющая работа по законам военного времени. Длилась она с раннего утра и до позднего вечера без выходных, под девизом:

«Всё для фронта! Всё для победы!»

А для меня началось другое детство – без родительского внимания и заботы, без игрушек, без детских книжек, сказок, песен, со скудным питанием в самый ответственный момент становления детского организма.

Вечером из садика меня приводила старая женщина, соседка в нашей коммуналке. Я проводил в одиночестве несколько часов, играя пустыми коробками от спичек, а затем засыпал один на кровати.

Все военные годы моей главной игрушкой были пустые коробочки от спичек. Они заменяли мне игрушечные машинки. Я привязывал к этим коробочкам длинные нитки и часами возил их по полу. Я гудел, как гудят моторы у машин. Я подавал сигналы, как подают сигналы машины. Я возил на них грузы, этими грузами был обыкновенный горох. У меня был свой гараж.

Маму я видел мельком ранним утром. Она поднимала меня в садик, говорила несколько слов и торопливо уходила на свою работу. В садик меня отводила та же добрая женщина.

В иные вечера я начинал капризничать, плакать, звать маму, и тогда она приходила, сажала меня на колени, прижимала к себе и гладила по голове. Я становился угрюмым, молчаливым ребёнком, с тоскливым и влажным взглядом. В детском садике я сторонился детей. Меня тянуло к окнам, за которыми виднелся ближний лес, а за ним невысокие горы.

Так наступила зима, выпал глубокий снег, стало холодно, потом ещё холоднее. Закружило, засвистело, завывало за окнами. Стёкла их покрылись инеем. На прогулки в эту зиму детей почти не выводили. С внешним миром оставалась тоненькая связь – это дорога утром в садик и вечером из садика. Питания хватало лишь на выживание. Дети худели, становились инертными, капризными. Начались болезни. Пришло привыкание ко всему, смирение, безразличие. Пропали желания, погасли бурные детские эмоции, не стало слышно смеха, криков, возни.

Моя мама, получая иногда редкую возможность повидать меня, вместо бурной радости с моей стороны, наталкивалась на отрешённость. Вскоре у неё появилось твёрдое желание вызвать сюда бабушку Лушу, которая забрала бы меня и увезла с собой в узбекский город Ташауз, где она с бабушкой жила в эвакуации. Только как это сделать в условиях военного времени?

Однако эти мысли пришлось на время оставить – я неожиданно тяжело и надолго заболел. Болезнь моя называлась фурункулёзом. Это была тяжёлая и опасная для жизни форма фурункулеза, так как фурункул свил своё гнездо прямо на моей голове, с правой её стороны, чуть выше виска. В этом месте вздулся большой, очень болезненный, гноящийся нарыв. Он начал разрушать ещё не окрепшие кости черепа и угрожал заражением крови и мозга. Пришло время, когда я впал в беспамятство. А потом настал день, когда на глазах у мамы я застонал, дёрнулся несколько раз, затем вытянулся и затих. Лицо моё начало синеть, нос заострился, пульс исчез.

Когда явился по срочному вызову старенький доктор, то никаких надежд на моё воскрешение уже не было. Но этот милый старичок был большим практиком и большой умницей. Его уверенные и чёткие действия привели к тому, что вначале вернулся пульс, затем исчезла синева, и стало просматриваться дыхание. Мама рыдала, бледная соседка благодарила доктора – спасение пришло.

Началось медленное выздоровление. Фурункул обезобразил маленькую голову, оставив на ней рану семи сантиметров в длину, которая долго и болезненно покрывалась корочкой, а потом заживала. Но однажды я резко повернулся в нашей комнатёнке, потерял равновесие и ударился заживающим местом точно об угол стола. Была кровь, были слезы и причитания. Дело выздоровления вернулось к своему началу.

В это время, узнав из маминых писем обо всех моих несчастьях, моя героическая бабушка, бросив всё, пустилась в опаснейшую по тем временам дорогу из Узбекистана на Урал. Сейчас трудно даже себе представить, чего стоило ей, немолодой уже женщине, эта дорога военного времени длиной в целый месяц. Четыре недели в толчее и давке переполненных вокзалов и вагонов. Тридцать дней в зное и пыли, без умывания и смены белья, месяц впроголодь, выменивая на скудный кусок хлеба, взятые в дорогу вещи, месяц сидячего спанья и постоянная боязнь внезапного заболевания. Пройдя через всё это, бабушка появилась в нашем доме неожиданно. Мало узнаваемая, худая, с чёрным лицом и чёрными руками.

Она прижимала мою голову к своей груди и, плача, целовала большой шрам у виска, покрытый тонкой розоватой кожей. Я снова услышал невероятные слова о себе, снова узнал, что я «солнышко ненаглядное», «куколка милая», «золотиночка» и ещё многое другое.

Ташауз

Сборы в обратный путь были недолгими. Пришёл день, когда мы, оставив маму одну, тронулись в путь. Добирались до места очень и очень долго, всё время в гуще народа. После однообразия и скуки «уральского сидения» всё это было по мне: всё, что было рядом, что бурлило, кипело, пронеслось и исчезало из поля зрения навсегда. Несмотря на приобретённый бабушкой дорожный опыт, наш путь не стал ни легче, ни короче по времени.

Только через месяц мы прибыли в Ташауз – знойный и пыльный узбекский городок. Жильё наше находилось на окраине в одном из четырёх двухэтажных домов, которые стояли по периметру квадрата, образуя внутри закрытый двор в среднеазиатском стиле.

Двор этот на два года стал моей новой жизнью.

Мы занимали комнату на втором этаже. Дедушка с раннего утра и допоздна был на работе, а бабушка занималась домашними делами и мной. Дел у неё здесь было меньше, чем в Керчи, и она всё свободное время посвящала мне – читала, рассказывала, пела.

Но большую часть дня я проводил во дворе, где было много детей, и всегда кипели страсти: крики, визг, смех, плач, брань. Население домов составляли беженцы с детьми разных возрастов. Главным занятием взрослых была работа, а многочисленных детей развивал и воспитывал двор.

Двор жил по своим законам: принимал или отвергал, поощрял или наказывал, веселил или заставлял плакать, уважал или бойкотировал, преклонялся или сживал со свету. Двор можно было любить или ненавидеть, но обойти его стороной, разминуться с ним или не замечать его было невозможно.

Для меня двор стал ежедневным испытанием. При налаживании дворовых контактов мне мешала одна, приобретенная за шесть лет моей жизни потребность – я хотел, любил и умел играть один. В общей массе с детьми мне было неуютно, неинтересно и скучно. Я любил создавать воображением свои игровые ситуации и с головой погружался в них, жестикулируя и разговаривая сам с собой. Эта потребность зарождалась во мне ещё с нашего керченского двора, продолжалась в тесной уральской комнатке и укоренялась в последующей жизни.

За такое отщепенство двор вначале мстил мне, но спустя некоторое время оставил меня в покое.

Приходили редкие письма от отца, из которых стало известно, что в 1942 году он окончил авиационное училище, но на фронт, стараниями того же Пантелея Ивановича, не попал, а был откомандирован на новую учёбу в артиллерийское училище, где готовили лётчиков-корректировщиков артиллерийского огня. Только после окончания этого училища, он, в самом конце 1943 года, был направлен в действующую армию. Мы получили фотокарточку, с которой смотрел молоденький офицер в погонах старшего лейтенанта с «крылышками» в петлицах.

Пришло тревожное известие с Урала. Мама, работая в ночную смену, оступилась и упала с высоты второго пояса доменной печи, получив сотрясение мозга и сложный перелом ноги в голеностопном суставе. Нога заживала долго, срослась неудачно, тяжёлая работа при этом была противопоказана. Она получила разрешение оставить работу, и в одно прекрасное время появилась в нашем ташаузском доме.

Жить вчетвером нам пришлось недолго.

В мае 1944 года Крым был освобождён от немцев, оккупация окончилась. Все стали ждать разрешения на возвращение в родные места.

За спиной у всех оставалось три года эвакуации.

Для взрослых людей это было время изнурительной работы, бесконечных волнений и переживаний, время полуголодного существования, как физического, так и духовного – без радостей на душе, без праздников, без песен.

Для детей это было время изломанного детства, период недополучения всего, и в развитии, и в воспитании.

Это время всю последующую жизнь будет напоминать о себе разными негативами в их судьбах. Эта реальность выйдет за рамки военного времени и растянется ещё на несколько лет. Моё поколение выйдет в самостоятельную жизнь сильно ущербным, недобравшим от жизни тут и там, и судьба каждого будет складываться в рамках этой ущербности.

А пока шло лето 1944 года. Мне исполнилось 6 лет. Был я в то время очень худым, наголо остриженным мальчиком с большим шрамом на голове.

Война ушла далеко на запад, и вскоре возбуждённые и радостные люди потянулись из эвакуации в родные края. Наш железнодорожный состав уже несколько часов шёл строго на юг. Никто в вагоне не скрывал волнений, все взоры были прикованы к окнам. Вот сейчас, еще минута, и покажется берег родной крымской земли! Соблюдая давний негласный ритуал, громко и протяжно заревел гудок нашего паровоза – впереди под лучами солнца блестели зеленоватые воды Сиваша, мы въезжали через Перекопский перешеек прямо в Крым.

Из газет и радио все знали ту меру военного лиха, выпавшего на долю Крыма в период его оккупации немецкими войсками. Трёхлетние бомбёжки и обстрелы оставили от приморских городов груды развалин. Больше других пострадали Севастополь и Керчь. Эти города впоследствии получили звания Городов-Героев.

По разным каналам многие люди уже узнали о том, что возвращаются на пустые места, к руинам.

Джанкой

В Джанкое, не доезжая нескольких часов до Керчи, мы разделились.

Дедушка Валя с бабушкой поехали дальше, в Керчь, выяснять обстановку с жильём, а мама вместе со мной сошла с поезда в Джанкое. Она имела точные сведения о том, что все наши: дедушка, бабушка, Миша и Ляля – живы, а дом их чудом уцелел. Чудо заключалось в том, что соседних домов, справа и слева от нашего дома уже не существовало. От одного осталась только обгорелая труба да остатки большой печи, а другой был превращён в развалины прямым попаданием небольшой авиационной бомбы.

В нашем доме нас встретили слезы и причитания. После бурных объятий и поцелуев пошли долгие разговоры: о жизни в немецкой оккупации, о судьбе родственников и знакомых, о нашей жизни на Урале и в Средней Азии.

Все наши считали, что выжить в немецкой оккупации им помогла чистая случайность. В их дом на постой стал немецкий майор со своим денщиком. Это обезопасило хозяев от частых облав, обысков и арестов, а также отправки их детей, Миши и Ляли, на принудительные работы в Германию. Майор служил в армейском штабе. Как всякий немец, он любил во всём порядок и строгость, чистый мундир, начищенные до блеска сапоги, ежедневное бритьё, надушенный носовой платок в кармане, горячий завтрак с кофе и патефон с набором немецких пластинок.

Иногда «господин майор» обращался к дедушке на ломаном русском. На остальных домочадцев он смотрел, как смотрят на домашнюю птицу, которая бродит по двору. Один дедушка «угощался» иногда чем-нибудь с его стола, или получал лезвие для бритья, или какую-нибудь ненужную безделушку.

Дедушка причислял майора к категории «хороших» немцев. Особенно после того, как однажды, разбирая конфликт, возникший у дедушки с денщиком, майор принял сторону дедушки и дал денщику увесистую пощёчину.

Особенно нравилось дедушке его отношение к хлебу. Майор любил сам резать хлеб. Он нарезал его аккуратными пластиками. Затем смазывал каждый пластик тонким слоем масла или повидла. После этого разрезал каждый пластик на несколько небольших кусочков. Затем пил кофе, откусывая от приготовленной полоски малюсенькие кусочки и смакуя их. Всю последующую жизнь мой милый, добрый, необыкновенный дедушка следовал этому примеру. К каждому столу он сам резал тонкими кусочками хлеб, намазывал эти кусочки смальцем, маслом или повидлом, затем ножом делил эти кусочки на небольшие полоски и, видя, что я наблюдаю за ним, обязательно говорил мне всегда одно и то же:

«Как немъзи, Жека! Как немъзи!»

Он говорил по-русски так, как говорили все греки, общающиеся между собой только на греческом языке.

После освобождения Крыма в нашем доме от майора остался патефон с набором пластинок. Патефон стал любимой принадлежностью вернувшейся после войны в Джанкой маминной сестры Оли, моей тёти. Она пережила первую блокадную зиму Ленинграда, долго болела в эвакуации и сейчас радовалась всему вокруг. С её лица не сходила улыбка, когда в доме звучали мелодии патефонных пластинок. Улыбаясь сама себе, она приплясывала в такт мелодии, напевая при этом:

«Шадэ, шадэ, пурман!

Та-да-ри, та-да-ри-та-а-а!»

Родилась тётя Оля в 1920 году и была на пять лет младше моей мамы. Росла она весёлым, смешливым ребёнком, очень покладистым и добрым. Обожала свою старшую сестру и это чувство пронесла через всю жизнь. Вера во всё была для неё эталоном. Училась Оля хорошо, была аккуратна и добросовестна во всём. После окончания школы её дальнейшую судьбу взял на себя всё тот же Пантелей Иванович, который отвёз её на учёбу в Ленинград. Там она поступила на финансово-экономический факультет одного из вузов города.

Война застала её на пороге третьего курса. Учёба была прекращена. В числе немногих ей удалось уцелеть в блокадном городе. В этом ей помог её лёгкий, неунывающий характер. И теперь в нашем доме, если раздавалась музыка, и звучали песни, то это шло от Оли. Если кто-то шутил и смеялся, то этот смех и эти шутки исходили тоже от неё. Немного окрепнув, она устроилась на работу бухгалтером, так как сумела сохранить документ об окончании двух курсов финансового института.

Немцы покинули Джанкой в большой спешке и суматохе ещё до прихода в эти места наших наступающих частей, бросив на произвол судьбы все свои продовольственные склады. Местные жители, наголодавшись за годы оккупации, бросились растаскивать по своим домам содержимое этих складов. Суется и оглядываясь, хватала и тащила всё, что оказывалось под руками. Дедушка наш вместе с Михаилом, толкая впереди себя высокую двухколёсную тачку, тоже успели сделать несколько ходок к складам. Привезённые ими мешки, ящики и металлические коробки были закопаны ночью при свете свечи в углу сарая.

Один ящик прятать не стали, он сразу пошёл в дело. В нём находилось несколько тысяч маленьких пакетиков разного цвета с сухой крем-содой внутри. Высыплешь содержимое пакетика в стакан с холодной водой, и вода вмиг оживёт. Забурлит, запузырится, приобретёт яркий розовый, зелёный или жёлтый цвет, и готов чудесный, пахучий, освежающий, газированный напиток.

На следующее после нашего приезда утро, я вышел из дома и с интересом осмотрелся вокруг.

Территория нашего двора была разгорожена и стояла без забора. В первую же военную зиму забор пошёл на дрова. Перед домом проходила широкая грунтовая дорога. За ней, за уцелевшими домами на той стороне улицы, уходила вдаль широкая пойма небольшой речки с высокой травой и островками густого кустарника. Территория двора, лишённого забора, казалась мне очень просторной.

Позади дома стояли сарай и уборная (в те годы слово «туалет» в обиход ещё не входило). Между ними была вырыта узкая и глубокая траншея, длиной около четырёх метров. Сверху траншея была накрыта толстыми досками и засыпана на один метр землёй. Это была так называемая «щель», и использовалась она во время войны как бомбоубежище. Такая «щель» спасала от любого близкого разрыва, кроме прямого попадания в неё, и в годы войны полностью себя оправдала.

Сразу за сараем, за задней границей двора, был зелёный лужок размером в два школьных спортзала, а за ним виднелся двухэтажный корпус городской больницы.

Осмотрев весь двор и посидев в «щели», я проник внутрь сарая. Моё внимание привлекло единственное в нём оконце с выбитым стеклом, которое находилось необычно высоко над земляным полом сарая. К окошку была приставлена лестница. Я взобрался по ней и выглянул из оконца наружу. Моё воображение бурно заработало, и с этой минуты старый сарай на долгое время стал моим «паровозом». Выставив из окошка голову и левую руку, я изображал одновременно и машиниста, и паровоз: пыхтел, гудел, переключал руками разные «механизмы», крутил «колесики» или спускался с лестницы вниз, чтобы забросить угля в паровозную топку. После этого я вновь занимал место машиниста и плавно трогал тяжёлый состав

с места, громко «тутукая» и пыхтя. В шесть лет я уже успел «заболеть» прелестью железнодорожной романтики, и играл в свой «паровоз» без устали, играл один.

В своём одиночестве я был полностью свободен.

Заниматься мной было некому, у всех свои дела.

Изредка из дома появлялась Ляля проведать меня и, убедившись в том, что я на месте и весь погружён в свои игры, уходила в дом. Шестнадцатилетняя Лялечка (по паспорту Софья) была самой младшей в семье Такчианиди. Как никто в семье, она была предана дому и с детства тянулась к домашним делам. Послушная и ласковая, она была первой помощницей своей мамы во всех делах, и та не чаяла в ней души. Её любили все и звали только «Лялечкой». Имя Соня так и не вошло в домашний обиход.

Иногда за моим «паровозом» на лугу появлялись местные пацаны. Все они были старше меня и развлекались тем, что гоняли по траве пустую консервную банку, бегали с воплями друг за другом, боролись на траве или жгли костерок и сидели вокруг него. К ним меня не тянуло.

Один раз они подошли близко к нашему сараю, и я видел в своё окошко, как они зажигали какие-то жёлтые макаронины. Потом я узнал, что это был артиллерийский порох. Другой раз я увидел в их руках большие патроны от крупнокалиберного пулемёта. Они загоняли эти патроны пулями вниз в мягкую землю по самую шляпку, а потом бросали на них сверху острые камни, стараясь попасть ими прямо по капсюлю. Один из ребят подобрал у стены нашего сарая большой гвоздь, и все они уселись на корточки вокруг патрона. Владелец гвоздя наставил его на капсюль и ударил по его шляпке камнем. Взрывом ему оторвало два пальца на руке. Он вскочил, закружился и запрыгал, вопя диким голосом и держа свою руку на весу, и было видно, как его оторванные пальцы свисали вниз на сухожилиях.

Второй взрыв прогремел позже, в начале осени. Наш 18-летний Михаил (мамин брат) вместе со своим другом пошли на речку глушить рыбу найденной за городом гранатой. Друг разделся и вошёл в воду, чтобы собирать всплывшую после взрыва рыбу, а наш Михаил отошёл на небольшое расстояние вверх по течению, вырвал у гранаты чеку и бросил её в воду. Осколками они оба были тяжело ранены. Мишин друг захлебнулся в реке, а Миша был подобран прибежавшими на взрыв людьми и, несмотря на большую потерю крови, выжил.

Случаев, подобных этим, в то время было множество.

С наступлением вечера меня звали в дом. Главным местом в нашем доме была кухня. И помню я сейчас всё это так, как будто это было вчера. Основные дела переделаны, и у нас на тесной кухоньке собираются соседки-гречанки, чтобы посудачить, поделиться новостями прошедшего дня, пошутить, посмеяться и, не переставая подносить свои руки ко рту, забрасывать туда семечко за семечком, сплёвывая шелуху на пол. Одна только наша Ляля выталкивала шелуху языком через нижнюю губу на свой подбородок, и шелуха накапливалась там большим комком, который, устав, наконец, от своей тяжести, плюхался на пол. Проводив гостей, бабушка наклонялась за совком и веником и тщательно убирала шелуху с кухонного пола. Закончив подметать, она брала нашу единственную на весь дом керосиновую лампу и проходила ней в нашу единственную комнатку. Там, в углу между двумя окнами, горела под иконой лампадка, а у тёплой стены высилась бабушкина личная постель из трёх матрасов, четырёх подушек и двух её любимых котов, свернувшихся клубками на пуховом одеяле. А во всём доме долго ещё висел тонкий, приятный и аппетитный привкус жареных семечек.

А так, в течение дня, на плите с деревянным и угольным отоплением готовили еду и ели за столом в две очереди. Здесь же пряли шерсть на самодельном веретене, сучили нитки и вязали добротные носки своим домашним и на продажу. А на другом приспособлении («ланарце») готовили шерсть для вязания шарфиков и детских шапочек, сами вязали их спи-

цами и тоже продавали на ближнем рынке. Слушали за работой радио, вели разговоры, грызли семечки, принимали гостей на вечерние посиделки и таким образом проводили на кухне большую часть дня.

У каждого на кухне было своё любимое место, на которое никто не покушался. А для дедушки кухня была местом проживания – у окна стояла его кровать. Мой любимый дедушка был удивительно непритязательным человеком, готовым довольствоваться самым малым. Он никогда в жизни не пил спиртное и не курил, никогда не повышал голоса, никогда ни с кем не спорил, всем уступал и старался сделать приятное, доброе. Когда бабушка в сердцах укоряла, ругала, поучала или распекала его, то тот из их детей, кто находился рядом, всегда вступался за него.

Вот я сижу в углу на маленькой скамеечке. И угол, и скамеечка «принадлежат» мне. В топке печи горит уголь. Дверца печи пышет красным жаром. Закрытые конфорки тоже порозовели. Вот бабушка наполнила чайник водой из ведра и поставила его на плиту. Я начинаю терпеливо ждать. Кажется начинается! Появляются еле слышимые, мягкие, нежные звуки, похожие на шуршащий свист, на шёпот, на протяжное пенье дудочки, слабый стон больного или монотонный шум водопада. Звуки медленно нарастают, меняются, шум усиливается и прогоняет с души истому, успокоение, сказку. Грёзы улетучиваются. Крышка чайника начинает постукивать, подпрыгивать, выпуская на волю порции пара. Слышится пыхтение, кипение, из носика на раскалённую плиту брызжет кипяток. Чайник сдвигают на край плиты. Он сразу замолкает, успокаивается и, окутанный жаром, предлагает всем желающим крутой кипяток.

Чай пили с «кусковым» сахаром вприкуску. Сейчас такого сахара нет. Представлял он из себя кусочки разной величины /от 50 до 150 граммов/, голубоватого цвета, очень твёрдые и очень сладкие, приготовленные из сахарной свёклы. Перед употреблением его кололи на более мелкие кусочки. Для этой цели имелись специальные сахарные щипчики. На нашей кухне сахаром заведовал дедушка. Он колол его щипчиками, складывал в большую сахарницу и следил за тем, чтобы никто чрезмерно не увлекался сладеньким, так как сахар в те годы был в большом дефиците. Чай разливали в гранёные стаканы или кружки, а пили его уже из чайных блюдец, дуя, чтобы не обжечься, и прихлёбывая через край.

По субботам наша кухня превращалась в пекарню. Выпечка домашнего хлеба в то время стала возможна оттого, что в доме были созданы запасы муки, топлёного и сливочного масла из брошенных немцами продовольственных складов. Дрожжи доставали в городской пекарне через знакомого грека. Хлеб в те годы был лакомством, так как выдавался в магазинах маленькими порциями по продовольственным карточкам. В пятницу в деревянной кадке замешивалось тесто, и вскоре по всему дому распространялся вождеденный дрожжевой кисловатый запах. В субботу тесто вымешивали на столе, затем формовали, выстаивали для подъёма, а уж потом сажали в печь. Вскоре от печи расплывался густой, крепкий, непередаваемо аппетитный вкус свежеепечённого хлеба. Наступал момент, когда первая горячая буханка белого хлеба разрезалась пополам. Из каждой её половины выбиралась на блюдо пахучая мякоть, а внутрь опускали кусок сливочного масла, которое от тепла горячего хлеба начинало быстро таять. Тогда все по очереди брали кусочки пышной, тёплой мякоти и макали их в растопленное масло, получая от этой еды ни с чем несравнимое, редкое удовольствие.

В такие дни на кухне было многолюдно, шумно и весело.

Главным лицом среди всех в эти дни была бабушка. Маленькая ростом, ловкая, знающая азбуку хлебопечения назубок, разгорячённая жаркой работой, подобревшая и весёлая, она была мне в те минуты ближе и родней. Бабушка Фимия Константиновна.

Время катилось быстро.

Вот и наступила весна 1945 года – весна нашей Победы над Германией!

Всех людей как будто подменили. Они ожили, встрепенулись, воспряли духом, стали веселее, улыбчивее, оживленно говорливее. Спешили поделиться друг с другом планами, надеждами, радостями.

Из Керчи за мной приехала бабушка Луша. Их дом был приведён в порядок, и жизнь в нём налажена. Одновременно пришло письмо от отца, который сообщал, что скоро ненадолго приедет и заберёт нас с мамой к месту своей службы в Германию. Решили, что до приезда отца я поживу в Керчи. Однако моя вторая керченская жизнь продолжалась чуть больше месяца.

Среди жизненных историй, что я запомнил тогда в шестилетнем возрасте, выделяется история с жареными семечками. На нашей улице в Керчи жила старая одинокая женщина. Война и фашистская оккупация Крыма лишили её всех детей, мужа и ближайших родственников. По её преклонному возрасту и её болезням, по разорённому войной её нехитрого личного хозяйства подкралось к ней голодное лихо. Хоть по миру иди, да ноги совсем не носят – только от порога домика до лавочки у забора. Вот и надоумила её соседка: сидя на этой лавочке, жареными семечками торговать. В её положении это был самый лучший выход и спасение от голодной смерти. Так нет же, привязался к ней милиционер и строго-настрога запретил заниматься торговлей семечек на уличной лавочке. Частная торговля разрешалась только на городском рынке. Что ни день, милиционер стал наведываться к старушке и довел ее, в конце концов, до такой безысходности, что однажды, когда этот милиционер взял и рассыпал у старушки семечки прямо на землю, она в порыве горького отчаяния ушла к себе в хибарку и там повесилась.

Много было после этого на нашей улице разговоров между соседями, которые нам, детям, западали в души и в головы на всю жизнь.

Много.

А тут ещё у этой трагической истории концовка такая вышла. Сын старушки, на которого уже давно похоронка имелась, неожиданно для всех вернулся из армии в родной дом живым и невредимым. Вот она помощь и спасение для старой матери! Но опоздал сын всего ничего – меньше месяца прошло, как матери не стало.

А дальше снова худо.

Сын старушки крепко избил того милиционера и «заработал» тюремный срок. Соседи заколотили окна их опустевшего домика крест-накрест досками – сороковками.

История эта подлинная. И запомнилась она мне крепко, несмотря на мой малый возраст.

Приехал папа.

Последний раз его видели пять лет назад, и было трудно соотнести красивого, щеголеватого, бравого и уверенного в себе капитана с тем мальчишкой с металлургического завода.

Сборы в дорогу были недолгими. Впереди, в который уже раз, меня ждала моя железно-дорожная романтика, новые впечатления, новая жизнь.

Олау

Воинская часть отца базировалась на немецком аэродроме на окраине города Шнайде-мюля, что стоял на берегу большой европейской реки Одер /Одра/. Эта территория издавна была пограничным рубежом между Германией и Польшей, который не раз перекраивался в пользу той или другой стороны. Последний раз немцы захватили эту территорию в 1939 году, но уже в 1945 году, после капитуляции Германии во Второй мировой войне, она была возвращена Польше.

Одну из окраинных улиц города, застроенную четырёхэтажными домами и пролегающую по краю аэродромного поля, наш стройбат /строительный батальон/ огородил высоким деревянным забором. Над ним натянули несколько рядов колючей проволоки. За этим забором, который отгородил целый квартал улицы, и разместилась лётная часть. Территория части и всего аэродрома круглосуточно охранялась, а в ночное время между домами ходил патруль. Такие меры предосторожности были тогда не лишними. Польские националисты из «Армии Краёвой» повели против Советской Армии диверсионно-партизанскую войну, чтобы вернуть Польшу на довоенный, буржуазный путь развития. Действовали они дерзко и напористо, в основном по ночам, но иногда совершали диверсии и в дневное время.

Нашу семью поселили в двухкомнатную квартиру на третьем этаже одного из домов. Мама сразу с жаром взялась за свои женские дела. Она убирала, стирала, готовила еду. Больше всего мне запомнились её картофельные котлеты с хрустящей корочкой и вкусной подливкой.

Отец принёс из трофейного отдела своей части радиоприёмник. По ночам в темноте спальни комнаты ярко светился его круглый, зелёный глаз, лились тихие мелодии, звучала разноязычная речь.

Родители установили традицию совместных семейных обедов. Она требовала от меня в строго установленном время сидеть с чистыми руками за накрытым скатертью столом в центральной комнате. Если я опаздывал к обеду хоть на минуту, мне разрешали сесть за стол к пустой тарелке и сидеть молча до конца трапезы. Меня не ругали, ни о чём не спрашивали, не читали нравоучений, а спокойно игнорировали до конца обеда. Ничего не оставалось, как голодать до ужина. Помню, как закипала обида, как тряслись губы и навёртывались слезы. Но бабушки Луши рядом не было, а между родителями сложилось твёрдое взаимопонимание в вопросах моего воспитания.

В течение дня я мог распоряжаться временем по своему усмотрению. Мне не задавали вопросов: Где был? Куда пошел? Что делал? – не ходили за мной по пятам, не разыскивали меня в округе. Это была система «свободного выпаса».

Офицерских детей в части набралось до пятнадцати человек. Большинство составляли девочки, которые собирались на лужайках между домами и играли в свои игры. Ненастную погоду они просиживали у «дяди Зайцева» в трёхкомнатной квартире, приспособленной под полковую библиотеку. Одну из комнат сделали читальным залом с четырьмя столиками, на которых всегда были разложены журналы и газеты. За работу библиотеки отвечал сержант Зайцев. У «дяди Зайцева» берёт начало и моё увлечение книгой, пока только через рассматривание иллюстраций.

Нас, мальчишек, в части было шестеро. Все дни мы проводили вместе и вскоре знали каждый уголок на своей территории. За её пределы выходить нам было запрещено. В город мы могли попасть только организованно и только под охраной. Военнослужащим тоже запрещался выход в город поодиночке – только группой и только с оружием. Эта строгость была введена после того, как пятеро наших солдат не вернулись в часть из увольнения. Их нашли на следующий день. Националисты из «Армии Краёвой» пленили их безоружных и расстре-

ляли в развалинах ближнего дома. Мы, дети, знали об этом и не помышляли нарушать установленный порядок.

На своей же территории мы облазили все дома, начиная с чердаков и кончая подвалами. Во всех подвалах было темно и жутко, поэтому они сами собой отпали для наших игр. Зато мы оборудовали несколько «штабов» на чердаках, и началась такая жизнь, которая захватила нас целиком.

Офицерский состав части жил на глазах друг у друга. Холостых офицеров было больше, чем семейных, но общались они компаниями, не соблюдая этих условностей. Основными занятиями в свободное от службы время были рыбалка, охота и ночные застолья с песнями под патефон или гитару. Когда такая компания собиралась вечером в нашей квартире, то я долго не засыпал, лёжа в спальне. Мою детскую душу уже начинали тревожить и увлекать задушевные мелодии, льющиеся из-за неплотно прикрытой двери. Слова ещё скользили, ещё не могли быть мною прочувствованы, но музыка уже касалась душевных струн и оставалась во мне, производя тонкую, никому не видимую работу по развитию эмоционального отдела души.

«Мы вдвоем в поздний час
Входит в комнату молчание.
Сколько лет всё у нас
Длится первое свидание.

Сердцем воина хранимая,
Скоро ночь кончается.
Засыпай, моя любимая,
Пусть мечты сбываются».

Ещё не бегали мурашки по спине, не наворачивались слезы умиления, но уже что-то было, уже сон не приходил вовремя, уже хотелось продлить эти минуты и слушать ещё и ещё.

«Я уходил тогда в поход
В далёкие края.
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая».

Обычно посиделки заканчивались поздно, когда я уже крепко спал.

Иногда какие-нибудь события отвлекали нас от наших игр. Так было во время обязательного для всего личного состава нашей воинской части 10-тикилометрового кросса вокруг большого аэродромного поля. Наша ребячья компания не только провела весь этот день в гуще событий, но и приняла в нём личное участие. Всё началось с того, что нас заинтересовали крупные белые таблетки, которые военврач выдавала всем участникам забега. Нам она объяснила, что это есть «глюкоза», которая придаёт силы во время бега, что она вкусная, и если мы хотим её получить, то должны бежать вместе со всеми, но не десять, а только пять километров. Мы согласились, и тогда, выдав каждому по упаковке глюкозы, нас прикрепили к группе солдат, которым приказали присматривать за нами. Из разговоров перед самым стартом, которые вели взрослые, я узнал о том, что такое «второе дыхание», и эти сведения меня заинтересовали. Может быть, поэтому я не сошёл с дистанции, не повалился ничком в траву, а, выбиваясь из последних сил, дождался – таки «второго дыхания» и с его помощью пришёл к финишу. После этого уже не имело никакого значения пересохшее горло, пот градом, дыхание на послед-

нем пределе, подкашивающиеся ноги – это была моя первая личная победа, победа через преодоление.

Другое событие имело своим началом тёмную ночь. Я был разбужен мамой, наскоро одет и уведён в здание штаба, где собрались все женщины части со своими детьми под охраной автоматчиков. Там я окончательно пришёл в себя. На улице в отдалении слышалась стрельба. Я вспомнил нашу тёмную комнату с дорожкой лунного света на полу. Отца, вставляющего в пистолет обойму с патронами и быстро выбегающего из дверей. Вокруг нас шли тихие разговоры о ночных учениях, но днём мы узнали правду. Ночью на территорию части было совершено нападение польских националистов. Наш патруль вовремя поднял тревогу и вступил с ними в перестрелку. На помощь подоспела группа из охраны штаба, по тревоге поднялась казарма, подоспели из своих квартир вооружённые пистолетами офицеры. Потеряв внезапность и упустив инициативу, пользуясь темнотой, поляки растворились в развалинах соседнего квартала, оставив на земле нескольких убитых и тяжело раненых. У нас погиб старшина, разводящий караула, который первым поднял тревогу, и один солдат охраны. Через день были похороны на краю аэродромного поля и воинский салют.

Осенью 1945 года с некоторым опозданием во времени в нашем военном округе открылась русская школа-интернат для обучения детей военнослужащих. Школа была одна и находилась в городе Олау за пятьсот километров от Шнайдемюля. Мне ещё в июле исполнилось 7 лет, и я был зачислен в первый класс. К началу октября из воинских частей округа в этот интернат были доставлены его первые ученики и помещены в двухэтажном доме, приспособленном под общежитие. Учеников 1-х и 2-х классов поселили на втором этаже, а 3-х и 4-х классов на первом. На каждом этаже были свои воспитательницы и нянечки, которые проживали тут же в отдельных комнатках.

Прожитые в условиях воинской части полные три месяца, приучили нас всех к воинской субординации, поэтому всё здесь воспринималось нами как должное. И то, что двух девочек, генеральских дочек, поселили в отдельной комнате рядом с комнатой старшего воспитателя. И то, что детей полковников отделили от всех и поселили по 1 человеку в отдельных комнатах. Все остальные были размещены в больших комнатах, каждая на 12 человек. Такой же порядок разделения детей по чину их родителей, стал сопровождать нас везде: в классе, в столовой, на прогулке и в общежитии. Впоследствии об этом мне напомнила и фотография нашего класса, где в центре на стуле сидит наша учительница, обняв за плечи и прижимая к себе генеральских дочек, одетых в изысканные платья с кружевными передничками. Справа и слева от них сидят на стульях дети полковников, а все остальные «россыпью» стоят за их спинами. Среди них нахожусь и я – сын капитана.

Позже, через 12 лет, работая на большой угольной шахте, я увидел тот же расклад, но уже в чиновничьей субординации. Директор шахты и главный инженер, при их довольно редком посещении «подземки», смывали с себя угольную пыль в двух персональных банных помещениях с отдельными входами. Для ИТР /инженерно-технических работников/ имелось своё моечное помещение. Вся остальная шахтёрская братия толпилась поочередно в «своей мойке» под пятью душевыми «подсолнухами». При шахтной столовой для директора и главного инженера имелись отдельные, личные кабинеты. ИТР питались тоже в отдельном от шахтёров зале.

Чуть позже, работая на колымском прииске, я быстро усвоил, что в поселковом клубе лучшие места «закреплены» за семьями директора прииска Ивана Васильевича Шевцова, главного инженера и председателя поселкового Совета «товарища Петухова». Они чаще всего пустовали, но никто и никогда из рабочих прииска их не занимал. Мало того, так как задняя часть жены «товарища Петухова» не влезала между ручками одного сидения, то по указанию свыше была спилена одна из ручек, и из двух кресел сделано одно «кресло мадам Петуховой».

Возвращаясь снова в мыслях к началу своей школьной жизни, мне захотелось теперь перечислить всё то, что моя память не удержала, упустила и не смогла сохранить из моей 2-х-летней жизни и учёбы в школе-интернате города Олау:

я не помню здания своей школы,
свою классную комнату и себя, сидящим за партой;
я не помню ни лица, ни имени своей первой учительницы /упомянутая выше фотография была утеряна/;

я не помню ни одного урока, ни одной своей оценки;
я не помню ни своих учебников, ни тетрадей, ни себя за приготовлением уроков;
я не помню школьных звонков, перемен, праздников, детских игр и лиц тех, с кем учился и жил.

Но кое-что в моей памяти все же задержалось.

Мне хорошо запомнилась одна и та же процедура, которая повторялась ежедневно перед обедом. Нас строем подводили к входной двери в столовую. Пройти дальше, в зал, можно было только после того, как из рук медсестры выпьешь столовую ложку рыбьего жира. Это была для всех «египетская казнь». Дорогу нам перегораживал стол. За ним сидела медсестра и каждому в рот совала ложку, до краёв наполненную рыбьим жиром. Выпил – проходи в зал обедать, в противном случае оставайся за дверью без обеда. Всё это делалось строго по-военному, без поблажек и скидок для тех, кто был на ««общих основаниях». Генеральских дочек эта процедура не касалась. Их вводила в зал мимо медсестры, держа за руки, наша воспитательница.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.